

Страшные годы всегда преследовали этого поэта. Страшные — не бедственные, не военные, не преисполненные страхом, оставляющим хоть какое-то место для гневных вспышек достоинства. Страшные, или серые, — значит всё более призрачные, подобно горизонту, удаляющемуся по мере приближения к нему. Но если сама мысль о горизонте внушает надежду, то дума о постоянно сменяющихся друг друга годах — порой тяжелее заключения.

Дело не в том, что выхода нет, выход для поэта всегда есть, или хотя бы возможность указать направление выхода. Просто жизнь любого поэта — это не просто «подвиг», и тем более не «творчество» в расхожем смысле, сколь бы ни был этот смысл доверителен и благожелателен к поэту. Жизнь поэта — сценарий, в который необходимо входят и детское избранничество, и подвиг, и гонения, и лавры, и пророчества, и чудеса. Эти сцены могут быть самыми разными, но горе, если сценарий постоянно срывается и откладывается.

Игорь Бухбиндер из тех поэтов своего времени, сценарий жизни которых словно всё время хотели положить на полку и забыть. Но и просто опротестовать неуместность себя и своей поэзии он не мог. Ведь обычные амплуа такого протеста — гениальный юноша, бунтарь против судьбы, новый Лермонтов или Рембо — уже не действовали. Гениальные юноши были то ли оприходованы литературными студиями, то ли отправлены на какую-то подёнщину, то ли замкнуты в своём мире, то ли пошли по ведомству психиатрии — этот веер вариантов совершенно неутешителен. А богема тоже уже не могла быть тем, чем она была столетие назад: местом, способным разговорить человека, потребовать прямоты и растраты, отчаянной искренности в отчаянном опьянении. Напротив, постоянное умолчание, кривотолки, пусть даже из самых лучших соображений, стали отличительным

признаком богемы «серых» лет. Идти вперёд надо было самому, каждым новым подвигом переписывая готовые отложенные сценарии, оставляя по себе запись о подвиге, как оставляют запись на стене.

Эта хулиганская метафора надписи на самом деле очень подходит Бухбиндеру, в поэзии которого слабый след — главная метафора человеческой жизни, стоящая за многими образами. Флейта хрипит, степень робости важнее любых других степеней, коптит слабая свеча, тело истории зыбучее, как трясина. Везде тени теней, призраки призраков только и шествуют и требуют поступка. Это вовсе не платоновская пещера, но что-то гораздо страшнее: место преступления, сохранённое только в призрачной памяти, или место безумия, о котором если и скажут что-то внят-ное, то с большим смущением.

В живописи это близко технике Рембрандта — выхваченное из тьмы лицо, само во множестве морщин и следов — но что они в сравнении с тенью смерти, в которой проходит вся жизнь. Или Гамлет, любимый персонаж Бухбиндера, пленник вывихнутого времени, согбенный, но знающий, что его застала сама история. Тени пляшут, но не обманывают, скорбят, но не доводят до отчаяния, не подсказывают, как можно действовать, но напоминают, что в мире действие ещё возможно.

Поэт родился в Новосибирске, и детские и школьные годы не предвещали ещё ни обретения поэтического голоса, ни тем более героической биографии. Талант к математике и точным наукам был у него с ранних лет, и, не произойди в его жизни поэтического пробуждения, он бы стал преподавателем или сотрудником НИИ. Выбор университетской специальности, структурной лингвистики, был не просто выбором точной гуманитарности или передовой науки, это был выбор особой среды или дружеского круга.

Русская культура знала множество дружеских кругов, всегда бывших под подозрением начальства, но при этом служивших примером уже для больших движений. Не будь пушкинского лица, великие реформы были бы немного более формальными, классические гимназии — немного более рутинными, а Анненский и Гумилёв не обобщили бы культурный опыт современного человечества с таким размахом. Не было бы славянофильских кружков, философия Соловьёва и его последователей

была бы менее страстной, а любители и покровители искусств в эпоху модерна были бы не такими открытыми. Такими дружескими кругами стали в Советском Союзе отделения математической или структурной лингвистики: необходимость иметь дело с языковыми явлениями не давала замкнуться в индивидуальном калькулировании, постоянный поиск новых методов поощрял не столько соперничество, сколько сотрудничество, а обобщение большого количества идей навсегда делало питомцев этих отделений противниками господствующей идеологии. Как может знаток богатства языков поверить слишком примитивному языку лозунгов и новостных программ? Как может создатель языков программирования с их многозадачностью заглядывать в пропагандистские брошюры и конспекты? В других специальностях постановления партии и правительства ещё были терпимы как общая рамка, позволяющая дальше работать с содержанием как с чем-то частным, отдельными примерами. Но в математической лингвистике не существует частных решений: любое явление в языке — это то, что становится общим достоянием. Так само устройство структурной лингвистики толкало от частных переживаний по поводу происходящего к совершению общезначимого поступка.

Математические лингвисты легко общались друг с другом: знаменитый теперь Вадим Делоне, ещё один герой этой антологии, стал таким товарищем и наставником Игоря Бухбиндера. Для таких друзей поступок становится не просто решением и риском, порывистым вдохновением мученика, но единственным способом достойно прочертить свою траекторию. Как и Вадим, Игорь вышел на акцию протеста против ввода войск в Чехословакию. Если в самой Чехословакии проводилась «нормализация» — иначе говоря, от всех требовали сидеть тихо и не вспоминать о произошедшем, — то в СССР одной «нормализацией» не обошлось, нужно было запретить сами воспоминания о произошедшем как о событии, требующем нравственных решений. Для этого надлежало убрать с глаз всех, кто выступил с протестами, как будто ничего не было: кто-то не то выступил, не то нет. Игорь был арестован и после допроса исключён из университета и выслан в город Фрунзе, нынешний Бишкек. В Москве и Ленинграде ссылка уже была редкостью: диссидентов либо осуждали по политической статье, грозя осудить по уголовной, либо продолжали за ними наблюдение, надеясь

найти ключ к их поведению. Но в Новосибирске, городе, который хотел быть не просто образцово советским и социалистическим, но правильно советским во всех своих движениях, ссылка оставалась грозной реальностью. Когда власти не могут подавить академическую жизнь, они напоминают о нормах социалистического строительства: диссиденту не место в Новосибирске в том же смысле, в каком «не место на стройке». Московский изгнанник мог бы перебиваться временными работами, а новосибирский страдалец должен был показать пример своего перевоспитания в центральной Азии.

Во Фрунзе Игорь Бухбиндер стал машинистом на ТЭЦ: работа однообразная и меланхолическая, подходящая диссиденту, кем бы он ни был до ареста — чернорабочим или музыкантом. Часто о таких работах в котельных, каптёрках, дворницких думают как о некоторой тайной свободе: не особо видимый для советских институтов контроля, ты как будто можешь подолгу парить мечтами. На самом деле котельная — едва ли не худшее место для интеллектуального «воздухоплавания»; хотя бы по той причине, что диссидентам и были предназначены те места, в которых они не смогут влиять на умы подрастающего поколения — а какой свободный полёт без восторженных зрителей, желающих только полететь? В этих закутках годами создавались и блестящие переводы, и интересные философские трактаты — но во множестве самиздатских произведений видно, что, несмотря на обилие замечаний об «эпифаниях» (чудесных явлениях, меняющих жизнь. — А. М.), самим этим произведениям не дали стать эпифаниями, явиться так, как является самолёт из сборочного цеха, когда сама мысль о таком свободном явлении и подсказывала проектировщику или конструктору самые лучшие решения.

Поэтому Бухбиндера ни в коем случае нельзя называть поэтом андеграунда, имея в виду те самые институты вне институтов, вроде посиделок после смены или споров об экзистенциализме под гул занятых своими делами рабочих. Такой андеграунд мог быть, опять же, в Москве и Ленинграде благодаря осознанию всеми участниками пусть отсроченной, но миссии: сегодня ты уезжаешь на сезонные работы, но заработанных денег хватит на подпольную библиотеку, которую вместе мы спасём от обыска, а она потом определит и решения в свободной стране. Андеграунд был новым явлением русской культуры в том смысле, что он допускал

некоторую отсрочку, равно как и наоборот, суету ради благого дела, в отличие от старого освободительного движения, где всё диктовалось революционной необходимостью. Во Фрунзе андеграунда быть не могло, но существовало другое — соревновательность, борьба за авторитет в русской среде города.

Литературные объединения во Фрунзе были чем-то вроде французских лицейских театров в Алжире или британских литературных журналов в Индии — главным способом изжить чувство превосходства над местным населением, которое просто помешает трезво оценивать свои возможности и задачи. Ведь тот, кто участвует в постоянном невидимом соревновании и завоёвывает постепенно очки, столь же невидимый авторитет, не измеряемый орденами и званиями, явно не будет считать, что он всегда поступает правильно. Он будет блюсти своё достоинство, просто потому, что неформальная деятельность тоже должна выглядеть достойно.

Достоинство, оспаривающее привычное ожидание будущего в андеграунде, — сквозная тема поэзии Бухбиндера, хотя оно бывает выражено самыми разными образами и понятиями. Его гениальная «Поэма ожидания» может быть прочитана и как Поэма Достоинства, цитируй её с любого места:

*Сколько возможностей нам для раздумий!
Мы тут такое кадило раздуем,
Что потускнеют лампы житий.*

Здесь сразу читается апокалиптическая образность: померкшие светила, не оправдавшие себя церкви, свернувшееся небо как свиток суда над всем человечеством. Но это же и слова человека, который понимает, что возможности для раздумий не дают права на временный отказ от действия, на то, чтобы планировать, а уже потом решительно выступить. Наоборот, уже само раздумье, в котором ты оказываешься лишь точкой во вселенной или моментом истории, велит соизмерять себя с небывалым размахом поступка, благодаря которому мир только ещё и ценен. Конечно, здесь уроки героического экзистенциализма не прошли даром. Но экзистенциалисты, говоря, что не знают смысла жизни, знали, какой подвиг надо совершать. А для Бухбиндера — наоборот, смысл жизни обретается в общении с друзьями, в отречении от былого,

от скуки детства и суеты юности, а какой подвиг совершить — на это должна вывести «ниточка раздумий», этот самый чувствительный гадательный прибор:

*Слова, слова, мой друг!
Нам мучиться за двух
Загадкой икебаны*

У другого поэта эти строки были бы просто клятвой в дружбе, у Бухбиндера навязчиво воспроизведённое гамлетовское motto — «слова, слова, слова», причём оборванное, оказывается пониманием общей судьбы друзей, которые по той самой ниточке раздумий идут к поступку. «Мучиться за двух» — это не значит только разделить с другим ответственность за поступок, но разгадывать свою жизнь как загадку уже совершенного или, наоборот, только грядущего нравственного поступка.

Жена Игоря Бухбиндера, Наталья Соколова, тоже писала стихи и прозу, как потом и его дочь, как и все его друзья. Он и сам начал писать рассказы, начал переводить. Ведь эта система завоевания очков среди товарищей, и не ради монументальной славы, но ради простого удовольствия от неформального общения, требовала работы в разных жанрах, совершенно в соответствии с заветом Сократа, считавшего, что один и тот же человек может писать и трагедию, и комедию. Сократ говорил не просто о литературных жанрах: «писать» означало «ставить» — иначе говоря, он говорил о той социальной гибкости, без которой не было бы ни эпохи эллинизма, изощённого литературного творчества греков на таких же азиатских землях, ни всего дальнейшего развития нашей цивилизации. Именно таким Бухбиндер и запомнился в литературных объединениях Фрунзе: амбициозным и скромным, любившим цитаты и полунамёки и при этом искренним, насмешливым и трагичным. Фраза «Прямая дорога к Бухбиндеру» означала в этих больших по меркам русскоязычного Фрунзе кругах, что начинающий автор не просто подаёт надежды, а подаёт надежды сразу в нескольких непохожих жанрах: например, сочиняет в один и тот же год лирические поэмы и детективные рассказы. И это вовсе не ловкость литератора, но что-то вроде перебора вещей перед арестом, собирания необходимого чемоданчика:

*Когда ж тут требовать свирель,
Когда судьба на горло станет?*

Этот чемоданчик собирается не на случай ареста, а для будущего читателя, и свирель не спасёт от судьбы, музыка от смерти не спасёт. А что спасёт? Стихи как аккуратно составленный список во всех смыслах — как каталог и как копия. Сама возможность потребовать по списку хотя бы свирель, хотя бы газетный детектив — пусть последователи не забудут это потребовать.

Литературные объединения Фрунзе, называвшиеся, как и положено, амбициозно — «Горные зори» или «Время» — приняли Игоря отчасти как странного человека, святого или юродивого. По свидетельству одного из мемуаристов, он ни разу не нападал на чужие стихи, но только почтительным вниманием подсказывал поэту, как можно жить дальше и писать дальше. Об этом и строки:

*Насколько страшно чуждым верам
Своё бессмертье передать*

Бессмертье уже дано каждому, а почтение — лучший способ обратить в свою веру, может, и непонятную, но в чём-то всегда родную для новообращённого и обращающего, как внимание всегда благотворно и для внимательного человека, и для предмета внимания.

Он также ни разу не показал даже тени недовольства на лице, когда обсуждали его стихи, при этом он никогда ничего в них не исправлял — с целеустремлённостью паломника он шёл к своим целям и радовался, что все готовы всерьёз обсуждать его паломничество. Оптика Бухбиндера — это именно взгляд паломника, который через толпу идёт ко спасению именно потому, что во всех равнодушных лицах тоже видит людей, предназначенных шествовать к тому же спасению:

*Нет, проститься с тобой, до конца,
Невозможно стоять на причале:
Нет на свете такого лица,
Где бы губы мои не кричали!*

Только паломник может навсегда попрощаться не потому, что он решил разорвать все связи с прошлым, но потому что не знает, вернётся ли он из дальних краёв живым, тем более когда у него нет уже не только дома, но и даже пристанища, — а только «причал», на котором нельзя задерживаться слишком долго, если не хочешь заразить себя равнодушием к собственной цели.

Наконец, он никогда не бранил никого из живых, за исключением Асадова, но всегда думал о том, что настоящая поэзия может проявить себя там, где, казалось бы, все слова уже сказаны.

Слабое здоровье, приступы туберкулёза и астмы, какие-то семейные ссоры заставили поэта переехать в общежитие при ТЭЦ, и молодые почитатели приезжали прямо к нему: он всегда был готов выпить «Киргизского крепкого», чтобы обсудить особенности перевода англоязычной поэзии. Соглашаясь пить или гулять ночью, он как будто бы щадил всех, кому он прижизненный друг, разрешая только луне быть судьёй чужих амбиций и конфликтов. Можно сказать, это было светской исповедью для друзей или тем, что сам поэт называл «раздумьем»: «В белом раздумье стою». Мы понимаем, что это вовсе не про нерешительность или погружение в себя, а про способность продумать всю свою жизнь с позиций желанной нравственной чистоты.

Новые неприятности у Игоря Бухбиндера начались после того, как его стихи попали на Запад, в тамиздат, и вышли в альманахе «Майя» (потом эти стихи перепечатал Константин Кузьминский в приложении к тому 3а «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны»). От худшего в андроповскую эпоху его спасла только смерть 4 июля 1983 года от астмы. Худшим был бы не арест (за одну подборку стихов не арестовывали уже), а разгром литературных объединений или такие проработки, после которых уже сама жизнь в тягость. Астма — болезнь загрязнённых мегаполисов, развивавшаяся из-за бесконтрольных выбросов тогдашних предприятий, постоянного смога над городом в летнее время, в целом не очень здорового образа жизни, иногда из-за ядовитых красителей, удобрений и бытовой химии, пожаров на свалках, а иногда из-за активного и пассивного курения, настигла слишком многих, как других настигала язва желудка из-за отсутствия стерильной посуды, нерегулярного питания и стрессов. Мучения поэта в очередной комнате из четырёх углов на четыре койки были недолгими.

Завет первого русского поэта — «сбирайтесь иногда читать мой список верный» — исполнился в произведении одного из последних поэтов советского времени, который верил в то, что поэзия не просто импровизация или ослепительное открытие, но верный список произошедшего в природе и в истории. Как написал Евгений Шешолин в стихотворении памяти Игоря Бухбиндера:

*Тёмным вечером осенним шёл он к нам стихотвореньем,
жив был мир...*

Пушкинский завет — прийти невидимо и сесть среди друзей — выполнен более чем полностью: прийти не только своим вниманием, но и всей длительностью своего нравственного выбора, на котором и держится мир. Это «жив был», а не горестное или ностальгическое «был жив», — неожиданное словосочетание для поэта близкого к нам времени, потому что только в поэзии пушкинской эпохи сознание так легко освобождалось от печали прошедшего времени и становилось свидетелем настоящего, и сияние былого возвращалось вновь. Здесь, в лаконичности скупых слов, произошло то же самое.